

# ГРОССМЕЙСТЕР



Маргарита Дзюина

Маргарита Дзюина  
**Гроссмейстер**

«Автор»

2026

**Дзюина М. Д.**

Гроссмейстер / М. Д. Дзюина — «Автор», 2026

Некоторые люди играют в шахматы. Джоно Стоун играет людьми. Чтобы доказать отцу, что он достоин фамилии Стоун, он добровольно входит в КРАТОС — организацию, которую его семья ненавидела десятилетиями. В мире, где один неверный ход стоит жизни, Джоно придётся выбрать: остаться собой или стать тем монстром, которого он собирался уничтожить. Ведь самые опасные партии заканчиваются не шахом. Они заканчиваются властью.

© Дзюина М. Д., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

I. Дебют	5
Конец ознакомительного фрагмента.	34

# Маргарита Дзюина

## Гроссмейстер

### I. Дебют

*Любая партия начинается с момента, когда кто-то делает первый ход. Обычно люди думают, что дебют — это про осторожность. Про правила. Про подготовку. Это ложь. Дебют — это момент, когда ты впервые понимаешь, насколько далеко готов зайти ради победы. Именно тогда я впервые подошёл слишком близко к КРАТОΣ.*

Власть никогда не приходит с шумом. Она не стучит в двери и не просит разрешения. Она просто однажды оказывается в комнате — и ты вдруг понимаешь, что воздух стал тяжелее. Что каждый звук теперь имеет цену. А каждый взгляд — срок.

Меня учили действовать быстро. Учили делать так, чтобы противник не успел ни подумать, ни вдохнуть. В нашей семье скорость считалась достоинством, а сомнение — ошибкой. Решения должны были быть взвешенными, обдуманними. Но приниматься — мгновенно. Я знал одну простую истину. Истину, которую однажды мой дед сказал мне, когда я был ещё ребёнком:

«Миром правят не сильные. Миром правят терпеливые. Те, кто умеет смотреть на шахматную доску и не трогать фигуры, пока остальные уже ломают ногти, пытаясь сорвать чужого короля с места. Те, кто понимает: иногда лучший ход — не ход».

Я научился этому задолго до того, как понял цену такого терпения.

В двадцать лет это звучит смешно. В двадцать лет у тебя должно быть другое лицо: ярость, подростковое геройство, вера в себя, как в огонь. Но я видел слишком много людей, которые сгорали быстро — и красиво. А потом их имена произносили тихо, как будто боялись разбудить тех, кто ещё жив.

Отец любил такие истории.

Он рассказывал их без эмоций — как сводку погоды. Говорил, что в нашем мире выживают не лучшие. Выживают те, кто умеет быть полезным.

И каждый раз, когда он произносил это «полезным», я слышал подтекст.

*Ты — ещё нет.*

Он не говорил этого прямо. Отец вообще почти ничего не говорил прямо. Ему не нужны были слова. Ему хватало пауз.

Соломон всегда был тем, кого слушали с первого раза.

Я — тем, кого замечали позже.

Пауза после моей идеи.

Пауза после моих слов.

Пауза после моих попыток доказать, что я не ребёнок, который играет в силу.

Пауза — как нож, который не режет сразу, но ты уже чувствуешь, что крови будет много.

Я не ненавидел его за это.

Я боялся.

Боялся, что однажды он окажется прав.

Соломону не нужно было ничего доказывать.

Люди сами шли за ним.

Отец никогда не говорил этого вслух, но рядом с братом я всегда чувствовал одну простую вещь: он был будущим семьи. А я — вопросом без ответа.

И тогда появляется самое уродливое чувство на свете — жажда доказать.

Она лишает сна. Убивает вкус еды. И превращает каждый день в войну — даже когда вокруг тишина.

Я слишком рано понял, что сила — это не кулак. Сила — это доступ.

Доступ к людям. К словам. К информации. К страху. К двери, которая открывается не потому, что тебя любят — а потому что тебя боятся не впускать.

Так устроена любая система.

Особенно та, название которой взрослые предпочитали произносить вполголоса.

КРАТОС.

Я услышал это слово не из разговоров.

Из тишины.

Из того, как взрослые мужчины перестали двигаться, когда кто-то произнёс его.

Из того, как мой отец впервые за долгое время посмотрел не на человека, а куда-то дальше.

Будто увидел контур будущей войны.

Я не захотел быть тем, за кем приходят.

Я захотел быть тем, кого боятся.

Мы как-то сидели за ужином всей семьёй. Тихо. Почти спокойно.

Мать разливала чай. Соломон листал что-то в телефоне, периодически переглядываясь с отцом. Эмилио рассказывал про поставки, но даже он говорил вполголоса — будто дом уже заранее чувствовал надвигающуюся бурю.

Телефон отца завибрировал.

Он посмотрел на экран и сразу взял трубку.

— Да.

Тишина.

Мы продолжили ужинать, но атмосфера за столом изменилась мгновенно. Даже мать это почувствовала — её рука замерла над чашкой.

Отец долго слушал. Очень долго.

Ни одной эмоции на лице.

Только пальцы медленно постукивали по столу.

Потом он спокойно спросил:

— Где тело?

Соломон медленно поднял голову.

Эмилио перестал жевать.

Я почувствовал, как внутри всё неприятно сжалось.

Отец снова замолчал, слушая ответ.

— Понял, — сказал он наконец.

И положил телефон.

Просто взял вилку и продолжил ужинать, будто ничего не произошло.

Я смотрел на отца несколько секунд.

— Что это было?

Он спокойно отрезал кусок мяса.

— Димитрикус.

Пауза.

— Консильери Дона Леона передал привет.

Мать медленно закрыла глаза.

— Господи... — выдохнула она почти беззвучно.

Эмилио выругался себе под нос на испанском.

Я почувствовал, как воздух за столом стал тяжелее.

— Убили? наших? — спросил я.

Отец кивнул.

— Двое мертвы.

Пауза.

— Один в больнице.

Соломон отложил телефон.

— Они всё ближе подходят, — сказал он тихо. — Уже даже не пытаются скрывать.

Отец ничего не ответил.

Мать нервно сжала салфетку в руках.

— Иллая... — она посмотрела на него. — Это никогда не закончится?

Он поднял на неё взгляд.

Усталый.

Очень взрослый.

— Закончится, дорогая, — сказал он спокойно. — Когда одна из сторон исчезнет.

Тишина.

Только приборы тихо касались тарелок.

Я смотрел на отца, пытаюсь понять, как он может сидеть так спокойно.

Он будто почувствовал это.

Поднял на меня глаза.

— Вот поэтому, Джоно, — сказал он тихо, — с такими людьми не играют в героев. Они всегда отвечают. Вам ли это не знать. Они убили моего отца, вашего деда. Этого было достаточно. Но я решил не идти на них войной.

Соломон молчал.

Он всегда понимал цену слов. И силу молчания тоже.

В отличие от меня.

Он поднял взгляд на отца и спокойно спросил:

— Мы будем отвечать?

Отец покачал головой.

— Нет.

Просто нет.

Без объяснений.

Без эмоций.

Словно речь шла не о наших людях, а о плохой погоде за окном.

И вот тогда во мне вскипело по-настоящему.

Я смотрел на него и не понимал, как можно снова проглотить это.

Снова промолчать.

Снова сделать вид, что терпение — это сила, а не страх.

Мне казалось, что КРАТОΣ медленно душит нас, а отец продолжает считать это дипломатией.

Самое страшное в КРАТОΣ — люди начинали бояться их ещё до того, как те что-то делали.

Я сжал вилку так сильно, что побелели пальцы.

Отец заметил.

Конечно заметил.

Он всегда всё замечал.

— Ты хочешь что-то сказать, Джоно?

Сердце ударило сильнее.

Я поднял на него взгляд.

— Да.

Иногда я ловил себя на том, что начинаю говорить его интонациями.

И в такие моменты мне хотелось замолчать.

— Я думаю, они перестали видеть в нас угрозу.

Мать напряглась.

Соломон медленно посмотрел сначала на меня, потом на отца.

Эмилио закурил сигарету, будто заранее готовился к взрыву.

Отец откинулся на спинку стула.

— И что ты предлагаешь?

— Перестать быть удобными.

Тишина стала ледяной.

Отец смотрел на меня долго. Очень долго.

А потом тихо сказал:

— Вот поэтому ты ещё слишком молод.

Он взял бокал.

— Ты всё ещё думаешь, что власть любит шум.

И он замолчал.

Я понял: ждать больше нельзя.

Терпение — это не смирение.

Терпение — это умение выбрать нужный момент.

Я выбрал.

Мы часто спорили с отцом. Я не боялся споров. Я боялся тишины после них.

Той самой, когда каждый остаётся при своём — и молчание выглядит как согласие. Когда слова уже ничего не меняют, а воздух между нами становится плотным, как бетон.

Иногда у нас бывало мирно. Но чаще — мы ругались.

Не громко. Не театрально. Мы просто сталкивались лбами — взглядами, смыслами, тем, как видим мир. И каждый раз он ждал, что я отступлю. Что сделаю шаг назад. Что пойму правила игры и приму их.

С братом ему было проще.

Соломон понимал правила быстрее меня.

Ему не нужно было спорить с отцом.

Он видел систему — и находил в ней своё место.

Я видел систему — и сразу искал, где её сломать

Он был похож на отца. Холодный. Расчётливый. Собранный.

А я пошёл в деда.

Во мне всегда было слишком много несогласия. Слишком много внутреннего «почему». Я не умел принимать порядок только потому, что он существовал. Мне нужно было понять, кто его придумал — и зачем.

И именно это отец мне не прощал.

Я не хотел быть правой рукой Соломона. Не хотел ждать, пока весь бизнес перейдёт к нему, а мне останется роль — рядом. В тени. В функции.

Я хотел что-то своё. Независимое. Отдельное.

И кусок, на который я собирался укунить, был слишком большим, чтобы его прощали. Это была не доля. Не направление. Это был масштаб. Если мой план сработает — я всем докажу. Себе. Отцу. Брату. Этому чертову миру.

Докажу, что они ошибались на мой счёт. Что я не приложение к системе. Не младший вариант. Не ошибка расчёта.

Эта мысль не давала мне покоя. Она не кричала — она грызла изнутри. Медленно. Упрямо.

Это была не амбиция. Это была месть.

Тихая. Долгая. И очень личная.

Я думал о том, как разрушить КРАТОΣ.

Чтобы вы понимали: мы живём в опасном мире. Если ты — мелкая точка на карте, без имени и веса, — это почти счастье. Тебя не замечают. Тебя не считают. Тебя не включают в расчёты.

Но если твоя фамилия говорящая — как моя, — у тебя нет выбора.

Тебе придётся выживать. Борьбаться за место под солнцем. За право на собственную жизнь. Не за комфорт — за возможность дышать, не оглядываясь.

Я хотел перевернуть саму доску.

И я решил не ждать.

В конечном итоге, когда дед умер на руках отца от пули киллера, КРАТОΣ вернулся в нашу жизнь.

Уже не к нему — к отцу. К тому, кто унаследовал всё: бизнес, людей, фамилию и старые долги, которых у нас никогда не было, но которые нам всё равно пытались предъявить.

Предложение звучало иначе. Взрослее. Холоднее. Без намёков.

Отец выслушал — и отказался.

Так же спокойно, как когда-то дед. Без вызова. Без бравады. Просто дал понять: мы не входим в их баланс. И входить не собираемся.

КРАТОΣ не простил отказа во второй раз.

После этого нас перестали уговаривать.

Нас начали учитывать вне системы.

Отец это понимал. И всё равно выбрал отказ.

С этого момента вопрос перестал быть теоретическим. Это больше не была история про свободу или принципы. Это была история про выживание. Про то, сколько ты готов заплатить за право оставаться собой — и кто заплатит вместе с тобой.

Я вырос внутри этого напряжения. Внутри ожидания удара, который не наносили. Внутри тишины, за которой всегда что-то следовало. Мы не воевали с КРАТОΣ. Мы просто жили так, будто он однажды обязательно придёт.

И он пришёл.

Не с оружием. С расчётом.

КРАТОΣ не мстит в лоб. Он не наказывает показательно — это слишком шумно. Он просто начинает отнимать воздух. Медленно. Почти вежливо.

Сначала исчезают возможности. Контракты, которые должны были случиться, вдруг откладываются. Партнёры перестают брать трубку. Люди, которые вчера улыбались, сегодня говорят правильные слова и смотрят мимо.

Люди тоже меняются. Не все. Только те, кто не готов платить вместе с тобой. Кто-то уходит тихо, сославшись на семью. Кто-то начинает сомневаться. Кто-то ждёт, на чью сторону качнётся маятник.

Отец это видел. Он никогда не говорил об этом вслух, но я замечал: как он дольше смотрит на цифры, как чаще молчит за ужином, как аккуратнее выбирает слова. Он не боялся. Он считал.

Иногда КРАТОΣ делал шаг ближе. Напоминал о себе — через третьих лиц, через совпадения, через слухи. Не угрозы. Намёки. Самый чистый вид давления: когда тебе не говорят «мы можем», потому что ты и так знаешь.

Мы платили не деньгами.

И именно тогда я понял главное.

КРАТОΣ не про власть. Он про терпение.

Он умеет ждать дольше, чем ты. Дольше, чем твои принципы. Дольше, чем твоя уверенность в себе. Он рассчитывает не на слабость — на усталость.

Отец выдержал. Но я видел, сколько это стоило.

И я знал: в какой-то момент платить придётся уже мне.

Потом КРАТОС перешёл границу.

Он убил людей семьи Стоун.

Не показательно. Не сразу. Без подписи. Просто однажды несколько имён исчезли из разговоров. Несколько телефонов перестали отвечать. Несколько домов опустели слишком быстро, чтобы это было случайностью.

Официально всё выглядело иначе.

Мексиканцы. Разборка. Контрабанда, которая вышла из-под контроля.

Газеты получили удобную версию. Полиция — знакомый сценарий. Те, кто хотел верить, поверили сразу. Те, кто не хотел — сделали вид, что поверили. Так всегда проще.

Но мы знали.

Слишком чисто. Слишком точно. Слишком вовремя.

Мексиканцы не работают так. Они шумят. Они оставляют следы. Они хотят, чтобы их боялись. А здесь был порядок. Паузы. Правильные совпадения. Людей убрали не потому, что они мешали — потому что они были примером.

Никто не сказал вслух, что это предупреждение. В этом не было нужды. Система не разговаривает — она демонстрирует. И после этого разговоры о независимости стали короче. Осторожнее. Тише.

Отец тогда долго молчал. Не злился. Не спорил. Просто смотрел на пустой экран телефона, как будто ждал, что он загорится сам.

Я понял: следующий пример могут сделать из нас.

Не из-за денег. Из-за принципа.

И именно тогда моя мысль оформилась окончательно.

Если систему нельзя победить силой — её нужно заставить ошибиться.

Учёба в университете закончилась.

Последний экзамен я сдал досрочно, как и всё остальное в своей жизни.

Быстро. Холодно. Без особой радости.

Люди вокруг фотографировались, обнимались, строили планы на лето, напивались прямо у кампуса.

Будто впереди у них действительно была нормальная жизнь.

У меня — нет.

Телефон завибрировал, когда я уже выходил с территории университета.

Бьянка.

«Сегодня клуб. И без тупых отмазок, Джоно».

Я усмехнулся.

Наверное, она была единственным человеком, который ещё разговаривал со мной так, будто я обычный парень, а не сын Иллаи Стоуна.

Я написал Санни.

Санни Скорсезе.

Мой друг детства.

Его мать была итальянкой, отец — американцем. Их семья давно работала с нашей.

В нашем мире это называли доверенные люди.

В обычном — почти нормальная семья.

Через минуту пришёл ответ.

«Если ты снова будешь сидеть с лицом вдовца, я уеду домой».

Я впервые за день тихо рассмеялся.

С Бьянкой было проще.

С ней не нужно было думать о власти, следить за словами, просчитывать последствия.

Мы просто учились вместе.

Она была вне семьи, вне криминального мира, вне всей той грязи, в которой я вырос. Наверное, именно поэтому рядом с ней я иногда вспоминал, как выглядит нормальная жизнь.

Однажды она притащила щенка прямо на лекцию.

Профессор выгнал нас обоих.

А она потом полчаса доказывала, что собака усвоила материал лучше половины аудитории.

До сих пор не уверен, что она шутила.

Будто весь мир можно было спасти, если просто вовремя заметить того, кому плохо.

Меня это всегда смешило.

И почему-то нравилось.

К вечеру мы встретились у клуба.

Музыка уже долбила даже через закрытые двери.

Очередь. Дорогие машины. Дым. Смех.

Бьянка сразу обняла меня за шею.

— Ого. Ты всё-таки пришёл. Мир определённо катится к черту.

— Я тоже рад тебя видеть.

Она прищурилась.

— Ты опять выглядишь так, будто мысленно хоронишь человечество.

— Только половину.

— Вот. Уже прогресс.

Санни подошёл сзади, затянулся сигаретой и покачал головой.

— Клянусь, когда-нибудь я узнаю, как вы вообще терпите друг друга.

— Мы и не терпим, — сказала Бьянка. — Мы просто привыкли.

Мы прошли внутрь.

Люди вокруг смеялись, танцевали, целовались прямо у бара, снимали сторис, будто это и есть вершина жизни.

А я сидел в углу дивана, крутил стакан со льдом и чувствовал только странную пустоту внутри.

Санни плюхнулся рядом.

— Ты выглядишь так, будто тебя сейчас стошнит от богатых людей.

— Меня тошнит от скуки.

Он усмехнулся.

— Нормальные люди в нашем возрасте радуются, что могут бухать за чужой счёт и трогать модели.

— А я чувствую себя статистом в плохом сериале.

Санни внимательно посмотрел на меня.

Слишком внимательно.

— Тебе всё ещё мало, да?

Я промолчал.

Потому что он был прав.

Я проводил Санни взглядом.

Он ушёл к барной стойке, сразу затерявшись среди людей и дыма.

Бьянка уже танцевала с каким-то парнем, смеялась, запрокидывала голову назад, будто в этом мире вообще не существовало ничего страшнее похмелья и разбитого сердца.

Бьянка была красивой.

Но не той холодной, вылизанной красотой моделей из рекламы, рядом с которыми люди боятся лишний раз вдохнуть.

Светлые волосы почти всегда лежали немного небрежно, будто ветер успевал добраться до неё раньше зеркала.

Загорелая кожа.

Тонкие золотые кольца на пальцах.

И смех, который невозможно было не услышать даже через музыку клуба.

И глаза.

Слишком внимательные для человека, который делал вид, что живёт легко.

Она задавала неудобные вопросы.

Слишком быстро замечала ложь.

И каждый раз удивлялась, почему люди предпочитают красивые ответы честным.

Наверное, поэтому рядом с ней мне всегда хотелось говорить правду.

Когда Бьянка танцевала, люди вокруг начинали смотреть на неё почти инстинктивно.

Она двигалась свободно. Без пошлости. Без попытки кого-то соблазнить.

Просто чувствовала музыку.

Медленно вела бёдрами в такт, запрокидывала голову назад, закрывала глаза и будто исчезала внутри этого ритма.

В такие моменты она казалась человеком, который вообще не знает, что такое страх.

Она была слишком живой для мира, в котором вырос я.

А я сидел и смотрел сквозь толпу.

Мысли о КРАТОΣ разъедали меня изнутри.

Словно я уже стоял одной ногой там.

В этой системе. В этих людях. В этой войне.

И чем больше я думал о них, тем сильнее понимал одну ужасную вещь.

Часть меня уже хотела туда попасть.

Не из-за денег.

Не из-за власти.

А потому что рядом с ними моя жизнь наконец начинала казаться настоящей.

Санни вернулся со стаканом в руке, сел рядом и толкнул меня ногой.

— Ау, Джонотан.

— Да, да. Я просто задумался.

— Про что?

Я поднял на него взгляд.

— Про КРАТОΣ.

Санни мгновенно перестал улыбаться.

Огляделся по сторонам и тихо сказал:

— Тише. Не здесь, Джоно.

Музыка продолжала долбить по ушам.

Люди вокруг смеялись, кто-то целовался прямо у танцпола, бармены разливали алкоголь, будто мир никогда не знал страха.

А я вдруг впервые по-настоящему понял.

Я уже был не с ними.

Я уже уходил туда, куда нормальные люди добровольно не идут.

Санни несколько секунд молчал, потом медленно выдохнул дым в сторону.

— Ты ведь серьёзно думаешь влезть в это дерьмо, да?

Я усмехнулся краем губ.

— А когда я шутил?

Он покачал головой.

— Господи, Джоно. Иногда мне кажется, что тебе просто скучно жить как все остальные.

Я посмотрел в сторону танцпола.

На Бьянку. На людей. На чужую лёгкость.

И вдруг понял, что он прав.

Мне действительно было скучно.

Будто вся эта жизнь: университет, вечеринки, дорогие машины, разговоры ни о чём — слишком маленькая для того, что кипело у меня внутри.

— Ты никогда не думал, что нормальная жизнь переоценена? — тихо спросил я.

Санни хмыкнул.

— Нет. Я как раз очень хотел бы дожить до старости, купить домик у моря и бесить соседей итальянской музыкой.

Я впервые за вечер нормально рассмеялся.

Потом снова посмотрел на толпу.

И чем дольше смотрел, тем сильнее чувствовал себя чужим среди них.

Будто я уже сидел здесь призраком человека, который через несколько недель исчезнет окончательно.

Мы кивнули Бьянке и вышли на улицу.

Она махнула рукой и снова растворилась в музыке.

Музыка всё ещё глухо долбила через стены клуба.

Санни закурил уже у заднего двора, прислонился к кирпичной стене и внимательно посмотрел на меня.

Ночной воздух был холоднее, чем я ожидал.

— Так. Что за мысли, дружище?

Я молчал несколько секунд.

Потом забрал у него сигарету и затянулся.

— Ты же знаешь, отец тебя не отпустит.

— Да, знаю. Попробовать можно.

Санни тихо усмехнулся, но как-то без радости.

— Один поедешь?

— Да.

Он покачал головой.

— Самоубийца.

Я усмехнулся.

— Возможно.

Санни смотрел на меня долго. Слишком долго для обычного разговора.

Будто пытался понять, в какой именно момент его лучший друг начал превращаться в человека, который добровольно идёт в пасть монстру.

— Ты реально хочешь туда попасть?

Я выдохнул дым в сторону.

— Я хочу понять, почему все их боятся.

— И ради этого готов сдохнуть?

— Если надо.

Санни выругался себе под нос.

Мне действительно было скучно.

Словно вся эта жизнь — университет, вечеринки, дорогие машины, разговоры ни о чём — слишком маленькая для того, что кипело у меня внутри.

— Знаешь, что самое страшное? — тихо сказал я.

Санни нахмурился.

— Ну?

— Я ведь даже не уверен, что еду туда ради мести.

Он молчал.

Я усмехнулся и опустил взгляд на сигарету в своих руках.

— Часть меня просто хочет оказаться рядом с чем-то по-настоящему большим.

Санни медленно покачал головой.

— Ты псих.

— Возможно.

— Нет. Серьёзно, Джоно. Нормальные люди мечтают заработать денег, купить дом, жениться.

— А я?

Он посмотрел мне прямо в глаза.

— А ты смотришь на монстров так, будто хочешь стать одним из них.

Несколько секунд между нами стояла тишина.

Только музыка долбила за стеной клуба, да машины проезжали где-то совсем рядом.

Я вдруг понял, что Санни — единственный человек, который сейчас говорит со мной честно.

Не как с сыном Иллаи Стоуна.

Не как с будущим наследником.

А как с другом, которого боится потерять.

— Если всё пойдёт плохо, — тихо сказал он, — я всё равно прилечу за тобой, идиот.

Я впервые за вечер улыбнулся по-настоящему.

— Знаю.

Я ехал домой на такси.

Санни остался в клубе с Бьянкой.

Наверное, они всё ещё танцевали, смеялись, пили что-то дорогое и вредное, жили так, как должны жить люди в нашем возрасте.

Без мыслей о смерти. Без войн. Без КРАТОС.

Я смотрел в окно машины на ночной Лондон и думал о том, что где-то прямо сейчас существует целая система, о которой обычные люди даже не подозревают.

Люди едут домой после вечеринок, целуются на светофорах, выкладывают фотографии ужинов, ругаются из-за измен, строят планы на отпуск.

И даже не понимают, что в это же самое время кто-то где-то решает, кому жить, а кому исчезнуть.

Меня всегда поражало именно это.

Насколько близко могут существовать два разных мира.

В одном люди переживают, что им не ответили на сообщение.

В другом — тело могут никогда не найти.

Я откинул голову на сиденье и закрыл глаза.

Меня тянуло туда не только из-за мести.

Нет.

Мечь была удобным оправданием.

Правда была хуже.

Я смотрел в окно машины и понимал: рядом с такими системами всё остальное начинает казаться ненастоящим.

И именно это пугало меня больше всего.

Потому что нормальный человек не должен смотреть в сторону монстров с таким интересом.

Я вдруг вспомнил Бьянку.

Как легко она смеялась сегодня. Как танцевала. Как смотрела на меня, будто во мне ещё осталось что-то живое.

И Санни.

Он ведь правда пытался меня остановить.

Только мы оба понимали — уже поздно.

Я слишком долго стоял рядом с краем, чтобы однажды не захотеть заглянуть вниз.

Машина остановилась на светофоре.

Я посмотрел на своё отражение в окне и вдруг поймал себя на странной мысли.

Мне было страшно не то, что я могу погибнуть рядом с КРАТОС.

Нет.

Меня пугало другое.

Что рядом с ними я наконец почувствую себя на своём месте.

И тогда уже никогда не смогу вернуться обратно.

Я собирался на этот разговор два дня.

Мать сразу поняла — что-то не так. Соло уехал в Нью-Йорк, и я остался с отцом и матерью один. Она знала: это ненадолго. Либо умела меня читать слишком хорошо, либо материнское сердце снова опережало события.

Я сидел на веранде. Пил чай. Курил сигареты, одну за другой, хотя давно обещал себе бросить. День был тихий, почти обманчиво спокойный — такие дни всегдастораживают.

Мать вошла, как тень. Без звука.

— Дорогой, — сказала она спокойно. — Ты, когда бросишь курить? В прошлый раз ведь говорил, что бросаешь. Ох уж эта твоя вредная привычка.

Я потушил сигарету и посмотрел на неё. — Есть вещи, от которых сложнее отказаться, чем кажется, мама.

Она подошла ближе и погладила меня по голове — так, будто мне снова шесть, и я что-то натворил, но ещё можно исправить. Я обнял её за талию, уткнулся лбом в живот. От неё пахло кофе, духами и домом.

— Дорогой... — она замялась, потом посмотрела прямо. — Если ты что-то задумал, скажи сразу. Мне нужно переживать?

Я выдохнул. Медленно. Осторожно.

— Да, мам. Мне нужно поговорить с тобой и с отцом. Вечером.

Она не спросила «о чём». Не уточнила. Не стала давить.

Просто кивнула.

— Хорошо, дорогой. Давай вечером.

Она ушла так же тихо, как пришла. А я остался сидеть с остывающим чаем и недокуренной сигаретой, понимая: назад дороги уже нет.

Я дождался вечера.

Ужин прошёл молча. Отец переживал за Соло — за то, что они с Каспером одни в Нью-Йорке, где слишком много враждующих семей и слишком мало случайностей. Он говорил об этом сдержанно, почти между строк, но тревога проступала в каждом движении.

Мать почти не ела. Она смотрела на меня и ждала. Не слов — момента.

— Дорогой, — сказала она наконец тихо. — Ты что-то хотел нам сказать?

— Да, мам.

Я собрался с силами. Отец поднял глаза. Возраст брал своё: морщины стали глубже, взгляд — холоднее и пронзительнее. Таким он смотрел на людей, которые приходили с просьбами. Или с ошибками.

Время замедлилось.

Я кашлянул, почувствовав, как пересохло в горле.

— У меня плохие новости, — сказал я. — Я решил попробовать кое-что. И это... не совсем безопасно для меня. Для нашей семьи...

Слова повисли в воздухе. Отец не перебил. Мать не задала вопросов. В такие моменты они всегда давали мне договорить — как будто знали: если остановят сейчас, я могу не продолжить.

Я сделал паузу. И понял, что назад дороги больше нет.

Отец вздохнул и, не глядя на меня, спросил:

— Наркотики? Пауза. — Проститутки?

Он произнёс это ровно, как перечень возможных статей расходов. Без осуждения. Без эмоций. Или как человек, который видел всё и больше не удивляется ничему. Он даже не изменился в лице.

Вот это всегда пугало меня сильнее крика.

— Нет, — сказал я. — Не это.

Он наконец посмотрел прямо. Долго. Внимательно.

— Тогда что, Джоно? — спросил он. — Что ты хочешь?

Мать сжала пальцы под столом, но не вмешалась. Я видел, как поднялись ее плечи. Жилка на шее задержалась.

— Я хочу свой мир, — ответил я. — Не долю. Не направление. И не стоять рядом с Соломоном, когда всё однажды перейдёт к нему. Я хочу быть независимым.

Соломон бы никогда не сказал такого вслух. Он вырос достаточно близко к отцу, чтобы понимать: самые страшные решения всегда принимаются спокойно.

Мама посмотрела на меня внимательно. Долго. Словно пыталась понять, когда именно её мальчик исчез и на его месте появился кто-то другой.

Она ничего не сказала.

Отец чуть прищурился.

— Независимость от кого?

— От тебя. От Соло. От всех.

Он медленно откинулся на спинку стула.

— Ты понимаешь, что говоришь? — спросил он. — В нашем мире «независимость» — это слово, за которое убивают.

— Я знаю.

— Тогда зачем ты это выбираешь?

Я не стал отвечать сразу.

— Потому что иначе я исчезну. Стану человеком, которого все знают, но никто не запоминает.

— А тебя нужно считать? — спокойно уточнил он.

— Да, — сказал я. — Нужно.

Тишина вернулась. Тяжёлая. Настоящая.

— И что именно ты собираешься сделать? — спросил отец.

— Я хочу зайти туда, куда нас не пускают, — сказал я.

Он замолчал. А потом произнёс тихо, почти устало:

— Это может стоить тебе жизни.

— Я знаю.

— И всё равно ты рискнешь?

Я кивнул.

— Да.

Мать встала первой. Подошла и положила ладонь мне на плечо — легко, почти невесомо.

Отец смотрел на меня ещё несколько секунд. А потом сказал:

— Тогда слушай внимательно. Потому что, если ты уже сделал выбор — я не буду тебя останавливать.

— Джули, выйди, пожалуйста.

— Нет.

Это и мой сын тоже.

Отец закрыл глаза.

— Пожалуйста.

Она посмотрела сначала на меня, потом на него.

И молча вышла.

Отец проводил её взглядом, а потом сказал — уже жёстче:

— Я попросил тебя выйти. Я хочу поговорить с ним. А не стоять за дверью, дорогая.

Пауза. — Это и мой сын тоже Джули.

Я усмехнулся, коротко, без радости.

— Соломон был будущим. Я — вариантом, если что-то пойдёт не так.

Самое мерзкое заключалось в том, что я даже не мог обижаться на брата.

Он ничего у меня не забирал.

Он просто был тем человеком, которым отец всегда хотел видеть одного из своих сыновей.

— Что за глупости Джонатан. Отец грозно посмотрел на меня.

— Я запасной, — сказал я. — Ты сам это говорил.

Он вздохнул. Глубоко. Усталость в этом вздохе была старше меня.

— Джонатан, не паясничай.

— Мне не пять лет, отец.

Дверь за матерью окончательно закрылась. Слишком тихо.

Отец молчал почти минуту. Смотрел в бокал, будто надеялся найти там ответ, которого не существовало.

Потом медленно достал сигару. Не спеша. С тем самым вниманием, с каким он делал всё, что имело значение.

Щёлкнула зажигалка.

Табак вспыхнул тёмно-красным огоньком.

Он сделал медленную затяжку.

Дым потянулся по комнате густой тёплой волной — тяжёлый, терпкий, с той сладковатой горечью настоящего кубинского табака.

Комната наполнилась запахом Кубы.

Тёплым. Плотным. Узнаваемым.

Сигары всегда были оттуда. Он выбирал только их. Те, что напоминали ему о времени, когда всё ещё было под контролем. Когда решения казались окончательными.

Я почувствовал этот запах кожей. Он был не про удовольствие. Он был про момент.

— Ты понимаешь, что делаешь? — спросил он наконец, не глядя на меня.

— Да.

— Нет, — спокойно сказал отец. — Ты думаешь, что понимаешь.

Он затянулся снова. Медленно выпустил дым.

— КРАТОΣ не ломают, — продолжил он. — Его либо принимают, либо он стирает тебя. Ты хочешь войти туда не как сын, не как партнёр, не как наследник. Пауза. — Ты хочешь войти как угроза.

Я не ответил.

— И знаешь, что в этом самое опасное? — он наконец поднял глаза. — Ты слишком похож на деда. А они это помнят.

Он придавил сигару в пепельнице. Не до конца. Просто чтобы показать: разговор только начинается.

— Если ты идёшь туда, — сказал он тихо, — ты больше не будешь моим «запасным».

Пауза. — Ты будешь один.

Я выдержал взгляд.

— Я уже один, отец.

Дым между нами завис плотным слоем. И в этот момент я понял: назад дороги действительно нет.

— Я дал тебе образование, — сказал отец. — Связи. Почву под ногами. Он говорил так спокойно, но в этом спокойствии было давление. — Чего тебе мало?

Я поднял голову.

— Я хочу что-то своё.

Он усмехнулся. Криво.

— Своё... — повторил он. — Ты думаешь, это про желание?

— Дай мне расправить крылья, — сказал я.

Он резко выдохнул, словно дым пошёл не туда.

— Я дам тебе возможность, — сказал он. — Но не умирать. Ты дурак, если лезешь в осиное гнездо и думаешь, что тебя не ужалят.

Он снова затянулся.

Запах Кубы стал гуще.

— Они убили твоего деда, — сказал он наконец. Не повышая голоса. — Тебе этого мало?

Я не отвёл взгляд.

— Да, — сказал я. — Я знаю, что они сделали.

Отец замер. На секунду. Я продолжил:

— Дед меня предупредил. Он знал, что его убьют.

Это было сказано просто. Без трагедии. Как факт, который давно лежал между нами, но его никто не поднимал.

— Он сказал мне это за год до смерти, — добавил я. — Сказал, что отказ — всегда заканчивается одинаково. Просто не всегда сразу.

Отец медленно опустил взгляд. Пальцы сжались на сигаре сильнее, чем нужно.

— И он всё равно отказался, — тихо сказал он.

— Да.

— И ты хочешь повторить его путь?

— Нет, — ответил я. — Я хочу его закончить.

В комнате снова стало тихо. Не пусто — плотно.

— Ты понимаешь, что после этого тебя больше не будут пугать? — спросил отец. — Тебя будут проверять. Резать. Смотреть, сколько ты выдержишь.

— Я понимаю.

— Нет, — он поднял глаза. — Ты не понимаешь, сколько это стоит.

— Я готов заплатить, — сказал я.

Он долго смотрел на меня. Слишком долго. Так смотрят не на сына — на решение.

— Тогда слушай, — произнёс он наконец. — Потому что если ты действительно идёшь туда... Он сделал паузу. — Я не дам тебе крылья. — Я дам тебе броню.

Сигара догорела почти до конца. И я понял: это не благословение. Это — подготовка к войне.

— Отец, я всё продумал, — сказал я. — Я сменю внешность. Перекрашу волосы. Подстригусь. Полное одиночество в городе, я не буду ни с кем контактировать из вас... Они не узнают меня.

Он посмотрел так, будто я сказал что-то по-настоящему наивное.

— И это твой план? — спросил он. — А что дальше?

— Дай мне год.

Он даже не сразу ответил.

— Если у меня не получится, — продолжил я, — я вернусь и сделаю всё, как ты скажешь.

— Год? — он усмехнулся. Коротко. Без радости. — Ты сошел с ума.

— Да. Год. Ровно год.

Он молчал долго. Потом сказал:

— Я подумаю.

В его голосе не было обещания.

Он поднялся, сделал несколько шагов по комнате, остановился у окна.

— Мой сын собирается идти умирать, — произнёс он наконец. — Ты знаешь, что я люблю тебя, Джонатан. Пауза. — Но я не могу понять, чего тебе не хватает.

Я сжал пальцы.

— Отец, вот в этом и вся проблема. Я хочу попробовать.

Он повернулся резко.

— Попробовать что?

— Если я смогу развалить их структуру. Понять, как и за счёт чего она держится. Как они думают. Как принимают решения. Я говорил спокойно. Слишком спокойно. — Тогда мы будем править ими. А не они — нами.

Он долго смотрел на меня. Потом медленно покачал головой.

— У меня нет слов, — сказал он. — Это слова мальчишки. Тебе двадцать лет, Джоно. Ты ещё не понимаешь, сколько умных людей уже пытались сделать то же самое.

— Я всё сказал, отец.

Тишина снова легла между нами. Тяжёлая. Окончательная.

Он не стал спорить дальше. Это было хуже любого отказа.

— Иди, — сказал он наконец. — Мне нужно подумать. И ещё, — добавил он, не оборачиваясь. — если ты получишь этот год... Пауза. — Ты не имеешь права на ошибку.

Я кивнул.

— Я знаю.

Я вышел, понимая: решение уже принято. Вопрос был только — кем.

Я ушёл в свою комнату. Точнее — в своё крыло.

Я ушёл в своё крыло.

Закрыв дверь.

Сел на край кровати.

В комнате было темно.

Только лунный свет делил её пополам.

Я шёл молча, прокручивая разговор снова и снова. Не слова — паузы между ними. Интонации. Моменты, где отец смотрел не на меня, а сквозь. Там, где решение уже было принято, но ещё не озвучено.

Дойдя до своей комнаты, я закрыл дверь.

Сел на край кровати.

Воздух был спертый. Тяжёлый. Пыль стояла в лунном свете — её было видно, потому что я не включал свет. Луна ложилась на пол длинной полосой, разрезая комнату надвое. Половина — в тени. Половина — открытая, почти беззащитная.

Я сидел неподвижно.

В такие моменты дом всегда будто замирал вместе со мной. Ни шагов. Ни скрипов. Только редкое тиканье где-то в глубине — старые часы, которые никто не заводил, но которые всё равно шли.

Я понял: если сейчас лечь и закрыть глаза, ничего не изменится. Ни решение. Ни путь. Ни цена.

Этот дом был безопасным. Слишком.

Я выдохнул. Медленно. Почти бесшумно. И впервые за вечер почувствовал не страх — ясность.

Год.

Всего один год.

\*\*\*

Утром я проснулся от тихого стука.

Это была мама.

Она вошла — и я сразу понял: что-то не так. Она выглядела иначе. Словно за ночь внутри неё что-то надломилось. Мама редко плакала. Она была сильной женщиной — из тех, кто держит дом, когда мир вокруг начинает рассыпаться. Я почти никогда не видел её слабой.

Она легла рядом и обняла меня.

— Сынок... почему? — прошептала она.

— Потому что, мама, — ответил я тихо. — Я так хочу.

Она долго молчала.

— Ты ведь знаешь, — сказала она наконец, — что мы с папой любим тебя. Нам не нужно, чтобы ты что-то доказывал. Никому. Дорогой.

— Я знаю, мам.

Я повернулся к ней. Мы смотрели друг на друга долго, словно пытались запомнить этот момент — на случай, если потом не будет времени. Она не выдержала первой. Слезы выступили внезапно, без звука. Мама села на кровати, поджала ноги к себе — почти по-детски, без защиты.

Я обнял её.

— Не переживай, мама. Всё будет хорошо.

Она покачала головой.

— Джоно... — сказала она сквозь слёзы. — Это страшные люди. Я знаю их. Они убивают. Они насилуют. У них нет границ. Это не наша семья. Она посмотрела на меня так, будто искала выход, которого не существовало. — Как мы тебя защитим?

Я прижал её к себе сильнее.

— Я справлюсь, — сказал я.

А я остался сидеть на кровати, понимая: после этого разговора дороги назад не осталось — ни у меня, ни у них.

И впервые, мне захотелось, чтобы кто-то сказал:

«Не надо. Остайся дома. Не уходи».

Но в нашей семье людей готовили к войне, а не спасали от неё.

Мама ушла.

Через несколько минут телефон завибрировал. Сообщение было коротким, без приветствий:

Жду тебя в кабинете.

Я встал и пошёл.

Кабинет отца всегда был его святым местом. Туда не заходили без причины. Там не говорили лишнего. Там принимались решения, которые потом просто исполнялись — без обсуждений и сожалений.

Я открыл дверь.

Внутри было темно. Свет не включали намеренно — отец не любил, когда кабинет был ярким. Полумрак сглаживал углы, делал лица старше и честнее. Запах кожи, бумаги и табака стоял в кабинете так плотно, будто воздух здесь не меняли годами.

Стол был завален документами.

Это не был беспорядок.

Это был контроль.

В кресле сбоку сидел Эмилио Мачадо.

Правая рука отца. Человек, который видел больше смертей, чем большинство людей — новостей. Он курил сигару, не спеша, будто время здесь принадлежало только ему. Дым поднимался медленно и зависал под потолком.

Я зашёл, кивнул.

Эмилио ответил коротким взглядом — без эмоций, без вопросов. Он знал, зачем я здесь. Или, по крайней мере, догадывался.

Я сел напротив стола. Спина прямая. Руки на коленях. Как учили.

И стал ждать.

Тишина в кабинете была другой. Она не давила — она оценивала. В ней проверяли не слова, а выдержку. Кто первым заговорит. Кто первым дрогнет. Кто не выдержит паузы.

Сигара Эмилио тлела, издавая едва слышный треск. Где-то в глубине дома тикали часы. Время шло, но здесь оно ничего не значило.

Я понял: это не разговор. Это — допуск.

И вопрос был только один: дадут ли мне его — или закроют дверь навсегда.

Отец заговорил первым.

— Итак, — сказал он спокойно. — Я поднял все связи, которые смог вспомнить за ночь. Он не смотрел на меня — смотрел в стол, будто читал что-то между строк. — Эмилио сделал то же самое. Мы обсудили то, что ты задумал.

Он сделал паузу.

— Мы тебя прикроем.

Слова легли тяжело. Не как поддержка — как решение, за которое уже заплачено.

Отец замолчал.

Эмилио кивнул. Коротко, почти незаметно. Потом встал, налил себе бокал рома и сел обратно. Медленно. С той самой аккуратностью, с какой он делал всё важное. Он снова зажёт сигару — и я понял: когда Эмилио делает так, значит, план уже не в голове. Он уже **живёт**.

Дым потянулся вверх, лениво расплываясь по потолку.

Я сидел молча.

В тот момент я ясно осознал, где нахожусь. Передо мной сидели два человека, которые пережили слишком много войн, чтобы бояться ещё одной.

— Это не одобрение, — сказал отец, наконец подняв глаза. — Это расчёт.

Эмилио усмехнулся краем рта.

— Тебе дадут пространство, — добавил он. — Минимум следов. Минимум шума. Пауза. — Но не будет второго шанса.

Я кивнул.

— Я не рассчитывал на второй.

Отец откинулся в кресле.

— У тебя есть год, — сказал он. — Ровно столько, сколько ты просил. — За этот год ты либо поймёшь, как работает КРАТОС... Пауза. — Либо КРАТОС поймёт, кто ты.

Он посмотрел на меня внимательно. Не как на сына. Как на ставку.

— И ещё одно, Джоно, — добавил он. — С этого момента ты не действуешь от имени семьи.

— Я понимаю.

— Нет, — сказал он. — Ты исчезаешь.

Сигара Эмилио тлела, бокал рома оставался нетронутым. Тишина в кабинете снова стала плотной — той самой, в которой принимают необратимые решения.

— Иди, — сказал отец. — Готовься.

Я встал. Кивнул. И только у двери понял: это была не поддержка.

Это было разрешение войти в шторм.

Я вышел из кабинета.

Мама перехватила меня в коридоре — будто знала, в какую секунду я появлюсь.  
— Я тут сбегала в магазин. Купила краску. И линзы. Если уж ты решил исчезнуть... Давай хотя бы сделаем это правильно.

Я улыбнулся. Впервые за утро.

— Хорошо, мам. Я буду рад твоей помощи.

Она кивнула, будто ждала именно этого ответа.

Мы зашли в ванную. Мама достала машинку, проверила насадки — руки у неё были спокойные, уверенные. Такие же, какими она всегда делала всё важное.

— Начнём с этого, — сказала она.

Мои волосы были такого же цвета, как у неё. Каштановые. Немного волнистые. Они всегда выдавали нас — просто одна семья, без слов.

Она обняла меня, прижалась щекой к моей голове и поцеловала в макушку.

— Мам, давай, — сказал я тихо.

— Да. Хорошо.

Машинка зажужжала.

Звук был ровный, монотонный. Он заполнил пространство, вытеснил мысли. Я смотрел в зеркало, но не фокусировался на отражении. Волосы падали на кафельный пол — пряди, которые больше не принадлежали мне.

Я молчал.

В этой тишине мама аккуратно, без суеты, стригла мои волосы. Как будто не меняла внешность, а отпускала. Каждый проход машинки был точным. Ни дрожи. Ни слёз.

Когда она закончила, звук стих.

В комнате стало слишком тихо.

Я поднял глаза и увидел в зеркале другого человека. Не нового — незнакомого. И понял: это первый шаг. Не самый опасный. Но самый окончательный.

Мама положила ладони мне на плечи.

— Всё, — сказала она. — Теперь можно идти дальше.

Я кивнул.

И только тогда понял: назад дороги больше нет не только для меня. Она только что помогла мне исчезнуть.

Мама развела краску.

Чёрный цвет. Густой, плотный — без оттенков и компромиссов. Она работала аккуратно, сосредоточенно, будто делала не бытовую вещь, а готовилась к чему-то большему. Краска легла на кожу, на остатки волос, на брови — меняя не просто внешность, а линию лица. Стирая знакомое.

Пока мы ждали, пока краска возьмётся, мама смотрела на меня.

Долго. Внимательно. Не как женщина, оценивающая результат, а как мать, которая знает больше, чем говорит. В этом взгляде не было истерики. Только понимание и что-то очень древнее.

Мама не пыталась сделать меня неуязвимым. Она делала меня осознанным.

Краска темнела. Чёрный цвет забирал прошлое.

Оставляя только контуры.

Мама положила руку мне на плечо.

— Запомни, — сказала она тихо. — Сила не в том, чтобы не иметь слабостей. Пауза. — Сила в том, чтобы знать, где они.

Я кивнул.

Мы ждали молча, пока краска делала своё дело.

Мы смыли краску.

Чёрный цвет остался — плотный, ровный, будто он всегда там был. Я надел линзы. Глаза стали карими, тёплыми, неприметными. Не теми, которые запоминают. Не теми, которые ищут.

Мама протянула мне очки.

Дедовы.

— Я поменяла в них диоптрии, — сказала она, будто между прочим. — Ещё давно. Пауза.  
— Я помню, как ты любил с ними играть.

Я надел очки.

Оправа легла на лицо неожиданно правильно. Сразу. Как будто ждала. В зеркале на меня смотрел человек, которого нельзя было описать словами «наш». Он был... обычным. И именно это пугало больше всего.

— Уже лучше, — сказала мама.

Мама открыла косметичку.

— Шрамы не прячь все, — сказала она спокойно.

Лёгкими движениями коснулась кожи.

— Слишком гладкое лицо вызывает вопросы. Мы убираем акценты. Не историю. Люди видят только то, на что им позволяют смотреть.

Она отступила на шаг, внимательно посмотрела на меня и поправила линию бровей.

— Вот так лучше.

— Лучше?

— Меньше вызова.

Больше доверия.

Я посмотрел в зеркало.

Лицо почти не изменилось.

Но человек в отражении уже был другим.

— Запомни, — сказала мама.

— Люди видят только то, на что им позволяют смотреть.

Она протянула мне салфетку.

— Теперь попробуй сам.

Я начал повторять ее движения.

— Нет, — добавила она сразу. — Не идеально. Достаточно правильно.

Я повторил её движения. Неуверенно. Потом точнее. Мама кивнула.

— Вот. Пауза. — Теперь ты не исчез. Ты растворился.

Я снова посмотрел на себя.

Я стал немного другим. Ровно настолько, чтобы меня не узнали. И достаточно похожим на себя, чтобы не забыть, кем я был.

Мама стояла у зеркала и гладила живот.

Это было движение, доведённое до автоматизма — почти незаметное, почти бессознательное. После меня у неё остался шрам от кесарева. Тонкая линия, спрятанная под кожей, как напоминание о том, что я не хотел просто так появляться на этот свет.

Она всегда так делала.

Когда волновалась. Когда ждала. Когда отпускала.

Её ладонь медленно проходила по животу — там, где когда-то было больно. Не потому что болит до сих пор. А потому что, помнится. Потому что некоторые вещи остаются в теле навсегда, даже когда разум уже научился с ними жить.

Она смотрела в зеркало. На своё отражение. И на меня — через стекло, не поворачиваясь.

Будто видела сразу два времени: того мальчика, которого пришлось вытаскивать силой, и мужчину, которого теперь нельзя удержать.

Я поймал её взгляд.

Она не улыбнулась. И не заплакала.

Просто медленно убрала руку, словно закончила прощальный жест, и кивнула — едва заметно. Так кивают не на «прощай». Так кивают на «я тебя отпускаю».

Я отвернулся первым.

Потому что, если бы остался ещё на секунду — мог передумать.

Мама убрала косметику и закрыла сумку.

— Это всё, что я могу сделать, — сказала она. Пауза. — Остальное — твоё.

Я кивнул.

Месяц я провёл в подготовке.

Не в красивой подготовке из фильмов, где за пару сцен человека превращают в другого.

Нет.

Это было медленное стирание себя.

Каждый день начинался одинаково. Рано. Без права на усталость.

Сначала — голос.

Оказалось, это не так просто. Голос выдаёт всё:

происхождение;

уверенность;

воспитание;

страх;

деньги;

привычку командовать.

Его нельзя просто сделать грубее или ниже.

Нужно было сломать ритм речи. Убрать интонации. Научиться глотать окончания слов.

Говорить короче. Суше. Жёстче.

Без привычных пауз, в которых всегда слышался я.

Я сидел часами перед зеркалом. Записывал себя. Слушал. Начинал заново.

Иногда Эмилио молча заходил, садился напротив и слушал, как я говорю чужими голосами.

Потом коротко бросал:

— Слишком умный. Или: — Слишком богатый. Или: — Так разговаривают люди, которые привыкли, что им не отказывают.

И я начинал снова.

Через неделю голос стал другим.

Не наигранным — чужим.

Таким, который не задерживается в памяти.

Через две недели я начал забывать, как звучит мой настоящий голос.

Следом пошла внешность.

Мама перекрасила мне волосы ещё в первую ночь, но этого оказалось мало.

Эмилио заставил меня:

сменить осанку;

походку;

привычку смотреть людям в глаза.

— Ты смотришь как хозяин, — сказал он. — Это опасно.

Меня учили быть менее заметным.

Не слабым.

Незаметным.

Это разные вещи.

Я начал сутулиться. Медленнее двигаться. Убирать руки в карманы. Перестал носить часы. Снял кольца. Даже запах пришлось поменять.

Отец сказал: — Люди запоминают аромат быстрее лица.

Я перестал пользоваться своим парфюмом. Вместо него появился дешёвый табак, мята и чужая жизнь.

Я до сих пор помнил, как однажды отец сказал: «неплохо».

Мне тогда было двенадцать.

И я неделю жил на этой фразе.

А сейчас вместо похвалы был кивок.

И почему-то этого оказалось достаточно.

Каждый вечер мы сидели в кабинете: я, отец, Эмилио и иногда Санни.

На стол ложились:

схемы;

фамилии;

маршруты;

поставки;

связи;

фотографии.

Мне рассказывали про КРАТОΣ.

Не как сыну.

Как человеку, который может туда войти и не вернуться.

Я учил:

имена консильери;

привычки Дона;

кто с кем спит;

кто кого ненавидит;

кто пьёт;

кто играет;

кто продаёт информацию;

кто слишком жадный.

Отец повторял:

— Системы держатся не на сильных людях. Они держатся на слабостях.

Я не записывал.

Никаких телефонов. Никаких заметок.

Только память.

Цифры ложились ровно, будто всегда были внутри меня.

Иногда отец резко задавал вопросы посреди разговора.

— Кто контролирует порт в Салониках?

— Люди Марониса.

— Через кого Димитрикус выводит деньги?

— Через благотворительные фонды.

— Кто спит с женой Асена?

— Его охранник.

Пауза.

Эмилио усмехался.

— У мальчика действительно мозги Стоуна.

Чем больше я узнавал про КРАТОΣ, тем сильнее понимал, почему люди добровольно становились их частью.

Но хуже всего были не знания.

Хуже всего была изоляция.

Я решил встретиться с Бьянкой и Санни.

Наверное, в последний раз перед отъездом.

Телефон несколько секунд лежал в руке, пока я смотрел на пустой экран.  
Странно.

За последний месяц я научился слишком многому.

Но написать друзьям оказалось сложнее всего.

Но написать обычное сообщение друзьям оказалось почему-то сложнее.

Я всё-таки открыл диалог с Санни.

«Сегодня. Восемь вечера. Старое кафе у набережной.»

Ответ пришёл почти сразу.

«О. Великий Джонотан Стоун вспомнил, что у него есть друзья?»

Я усмехнулся.

Потом написал Бьянке.

«Будешь сегодня свободна?»

Три точки появились мгновенно.

Будто она держала телефон в руках всё это время.

«Ты жив? Конечно дурачок.»

Что-то неприятно кольнуло внутри.

Только сейчас я понял, насколько сильно исчез из их жизни за время подготовки.

Санни хотя бы иногда видел меня.

Помогал. Возил куда-то Эмилио. Сидел рядом, пока меня ломали под новую личность.

Шутил, чтобы разрядить атмосферу.

Он знал: что-то происходит.

Хотя и не понимал до конца — что именно.

А Бьянка осталась снаружи.

Полностью.

Я сам вырезал её из своей жизни ещё до отъезда.

Не отвечал на сообщения. Пропускал звонки. Исчезал неделями. Придумывал idiotские оправдания про семью и работу.

Она наверняка думала, что дело в ней.

Я смотрел на её последнее сообщение и вдруг поймал себя на мысли, что за месяц почти забыл, как выглядит нормальное общение.

Без контроля. Без осторожности. Без ощущения, что каждое слово может стоить кому-то жизни.

Бьянка снова написала:

«Я соскучилась вообще-то.»

Я долго смотрел на экран, а потом медленно напечатал:

«Я тоже.»

И это была первая честная вещь, которую я сказал за последние недели.

Мы встретились днём в маленьком кафе недалеко от набережной.

Бьянка пришла раньше нас. Сидела у окна, пила кофе и листала что-то в телефоне.

Санни сразу направился к бару за сигаретами, а я остановился рядом с её столиком.

Она подняла голову и улыбнулась.

— Ого. Ты выглядишь так, будто собираешься сообщить мне, что смертельно болен.

— Не настолько драматично.

— Жаль. Я уже настроилась плакать.

Я сел, напротив.

Несколько секунд просто смотрел на неё.

На обычную девушку с обычной жизнью, которая даже не представляла, насколько далеко я уже ушёл от всего этого.

— Я уезжаю.  
Она сразу перестала улыбаться.  
— Надолго?  
— Не знаю.  
— Куда?  
— В Грецию. Работа.  
Бьянка медленно откинулась на спинку стула.  
— Работа?  
— Да.  
— Джоно, ты никогда не говоришь слово «работа» таким голосом, если всё нормально.  
Я усмехнулся.  
Санни поставил кофе на стол, сел рядом и сразу почувствовал напряжение.  
— Так. Кто умирает?  
— Пока никто.  
— Уже радуется.  
Бьянка продолжала смотреть только на меня.  
— И что ты будешь делать в Греции?  
— Помогать семье.  
Она тихо выдохнула, будто уже знала, что ей не понравится ответ.  
— Тогда я поеду с тобой.  
— Нет.  
— Почему нет?  
— Потому что я сказал нет.  
Она раздражённо покачала головой.  
— Господи, какой же ты иногда невозможный.  
— Бьянка.  
— Нет, правда. Что страшного может случиться в Греции?  
Санни тут же поднял руку.  
— О. Тут как раз есть статистика.  
Она закатила глаза.  
— Даже боюсь спрашивать.  
— Семьдесят процентов туристов погибают от жары, ещё двадцать — от ужасных коктейлей, а оставшиеся десять — от греческих мужчин с золотыми цепями.  
Бьянка рассмеялась.  
— Ты идиот.  
— Я человек науки.  
— А изнасилования и грабежи где?  
Санни сделал серьёзное лицо.  
— Это входит в экскурсионный пакет.  
Она пнула его ногой под столом, и впервые за весь разговор атмосфера стала легче.  
Я смотрел на них и вдруг поймал себя на мысли, что буду скучать поэтому сильнее, чем ожидал.  
По нормальности.  
По людям, рядом с которыми мне не нужно быть кем-то другим.  
Бьянка снова посмотрела на меня. Уже без улыбки.  
— Ты правда не скажешь, что происходит?  
Я медленно покачал головой.  
Она долго молчала, а потом тихо сказала:  
— Тогда хотя бы вернись.

Она сказала это тихо.  
Будто уже знала, что не сможет меня остановить.  
Я отвёл взгляд к окну.  
Потому что не был уверен, что смогу ей это пообещать.  
Санни закурил сигарету, посмотрел сначала на меня, потом куда-то в сторону улицы.  
— Береги себя, Джоно.  
Я усмехнулся.  
— Постараюсь.  
Он кивнул.  
— Если что, я прилечу первым рейсом.  
И почему-то именно после этих слов я впервые по-настоящему понял.  
Я оставляю их в прошлой жизни.  
Последние две недели меня будто медленно вырезали из собственной жизни.  
Сначала исчезли привычные маршруты.  
Потом встречи.  
Потом люди.  
А затем я перестал узнавать самого себя.  
Даже дом начал относиться ко мне иначе.  
Они стирают меня.  
Мать смотрела слишком долго. Она всё время пыталась накормить меня.  
Наверное, это был единственный способ любви, который она успела выучить.  
В детстве мне казалось, что все матери умеют говорить о любви.  
Моя — готовила.  
Наверное, это был её способ сказать: «ты важен для меня».  
А отец — будто уже прощался.  
Иногда ночью я выходил на веранду, курил и ловил себя на странной мысли:  
чем ближе становился день отъезда, тем меньше я чувствовал себя сыном этой семьи.  
Иногда мне казалось, что я ненавижу не КРАТОΣ.  
А собственное бессилие рядом с ними.  
Последняя неделя была посвящена боли.  
Эмилио сказал: — Если тебя схватят, страх выдаст быстрее слов.  
И начал учить меня терпеть.  
Он бил неожиданно. Резко. Без предупреждения.  
Иногда посреди разговора кулак просто врезался под рёбра.  
Заставлял продолжать разговор, будто ничего не произошло.  
Иногда ломал сон: будил среди ночи, включал свет в глаза и начинал задавать вопросы.  
Память. Маршруты. Люди. Даты.  
Он хотел посмотреть, когда я сломаюсь.  
Но самое страшное — я начал привыкать.  
К боли. К напряжению. К постоянному ожиданию угрозы.  
И вот тогда я понял: подготовка нужна была не для того, чтобы попасть в КРАТОΣ.  
Она нужна была, чтобы после него во мне вообще хоть что-то осталось.  
Когда всё было сказано, я остался один.  
Соломону я всегда звонил последним.  
Так было проще.  
Пока не наступил день, когда именно этот звонок оказался самым тяжёлым.  
Соло был единственным человеком в семье, рядом с которым мне не нужно было ничего доказывать.  
Наверное, именно поэтому звонить ему сейчас было тяжелее всего.

— Да?

— Это я.

Пауза. Он сразу понял, что что-то не так. Не по словам — по тону.

— Ты что-то задумал, — сказал он.

— Да.

— Насколько плохо?

Я усмехнулся.

— Настолько, что лучше не знать деталей.

Он молчал несколько секунд.

— Ты всегда так, — сказал он наконец. — Сначала решаешь, потом предупреждаешь.

— Я просто хотел, чтобы ты знал.

— Что именно?

Я посмотрел в окно.

— Что, если какое-то время меня не будет... — я сделал паузу, — это не случайно.

Он выдохнул.

— Ты вернёшься?

— Да.

Это было единственное, что я мог ему пообещать.

— Тогда иди, — сказал он. — Только не делай глупостей.

— Я постараюсь.

Мы отключились.

Я положил телефон и понял: я только что закрыл ещё одну дверь — тихо, без хлопка.

Дальше оставалась только дорога.

Последний день я провёл в сборах.

Странное чувство.

Будто собираешься не исчезнуть из собственной жизни, а просто улететь в очередное модное путешествие, чтобы «найти себя».

Я даже выложил посты в соцсети.

Что-то смешное. Лёгкое. Почти идиотское.

Про то, что хочу осмыслить себя в этом мире. Что еду пожить для себя. Что иногда нужно исчезнуть, чтобы услышать собственные мысли.

Словно я не собирался внедряться в самую опасную систему Европы, а был очередным инфлюенсером, который внезапно «устал от суеты Лондона».

Я сидел, читал это и впервые за долгое время смеялся по-настоящему.

Потому что никто из них не понимал, насколько близко я нахожусь к точке невозврата.

Люди желали удачи.

Просили привезти фотографии.

Кто-то даже посоветовал заняться медитацией.

Я читал сообщения и почему-то смеялся.

Никто из них не понимал,

насколько близко я нахожусь к точке невозврата.

Я закрыл телефон.

Комната выглядела пустой.

Вещи были собраны:

документы;

наличка;

часы без фамильных меток;

оружие;

таблетки;  
новые телефоны.  
Всё помещалось в одну сумку.  
Вся моя новая жизнь — в одну чёртову сумку.  
Я сел на кровать и оглядел комнату.  
Столько лет здесь прошло.  
Здесь:  
я прятался ребёнком;  
впервые напился;  
спорил с отцом;  
мечтал стать кем-то большим.  
И вот теперь уходил отсюда человеком, которого даже не существовало официально.  
Я подошёл к окну.  
Лондон жил своей жизнью.  
Люди куда-то ехали. Смеялись. Ругались. Влюблялись.  
Я смотрел на город и вдруг понял одну простую вещь.  
Мне придётся оставить Джоно Стоуна здесь.  
В этой комнате.  
Хотя бы на время.  
С собой в Грецию я заберу только то, что поможет выжить.  
Всё остальное придётся забыть.  
В дверь тихо постучали.  
Отец.  
Он зашёл без привычной тяжести в движениях. Словно за эти недели постарел ещё сильнее.  
В руках — бутылка виски и две рюмки.  
Он молча поставил их на стол.  
Разлил.  
Сел напротив.  
Мы долго не говорили.  
Только тиканье часов, свет города за окном и запах кубинской сигары, который вьелся в него настолько, что казалось — он состоит из этого дыма.  
Отец сделал глоток и посмотрел на мою сумку.  
— Всё уместил?  
— Да.  
Он кивнул.  
Потом вдруг усмехнулся.  
— Когда мне было столько же, я думал, что бессмертен.  
Я посмотрел на него.  
— А сейчас?  
Он медленно покрутил рюмку в пальцах.  
— Сейчас я знаю цену самоуверенности.  
Тишина.  
Я ждал, что он снова начнёт отговаривать.  
Но он неожиданно сказал другое:  
— Знаешь, что самое страшное в таких местах, как КРАТОΣ?  
— Что?  
Он поднял на меня взгляд.  
Тяжёлый. Очень спокойный.

— Они дают тебе ощущение, что ты наконец нашёл людей, которые тебя понимают.  
Пауза.

— А потом забирают всё человеческое.

Я ничего не ответил.

Отец сделал ещё глоток виски.

— Я всё ещё думаю, что это плохая идея.

— Я знаю.

— Но ты всё равно поедешь.

— Да.

Он кивнул, будто другого ответа и не ожидал.

А потом сказал тихо:

— Тогда хотя бы не становись одним из них.

Я смотрел на него молча.

И впервые видел не главу семьи.

А отца.

Когда он ушёл, я долго сидел в тишине.

Я смотрел на собранную сумку.

И пытался честно ответить себе на один вопрос:

если мне действительно придётся стать монстром, чтобы уничтожить монстров...

Смогу ли я потом снова стать собой?

Я молча вышел из своей комнаты.

Остановился у двери.

Окинул взглядом всё вокруг так, будто видел это место в последний раз.

Закрыл окно. Поправил постель машинально, по старой привычке, которую вбила в меня мать.

В комнате было тихо.

Слишком тихо.

Ни музыки. Ни голосов. Ни привычной жизни за стеной.

Только я и ощущение, будто прямо сейчас заканчивается что-то гораздо большее, чем детство.

Я подошёл к комоду и взял семейную фотографию.

Старую. С потёртым углом.

Мы все были там:

отец;

мама;

Соломон;

и я.

Ещё до того, как между нами появились: молчание, страх, гордость, война и взрослые тайны.

Единственное, что я рискнул взять с собой в новую жизнь.

Я долго смотрел на снимок.

На улыбки. На руки матери у меня на плечах. На взгляд отца, в котором тогда ещё не было этой вечной усталости.

И вдруг поймал себя на страшной мысли:

может быть, именно туда я и пытался вернуться всё это время.

Не к власти.

Не к деньгам.

Не к КРАТОС.

А в тот день, где мы ещё были семьёй, а не людьми, которые учились любить друг друга через молчание.

Я убрал фотографию во внутренний карман куртки.

Ближе к сердцу.

Потом взял сумку и пошёл к выходу.

Дом встретил меня тишиной.

Свет внизу уже горел. Пахло кофе, сигарами отца и мамиными духами.

Запахами моей жизни.

Моей прошлой жизни.

Я медленно спустился по лестнице, и с каждым шагом внутри становилось тяжелее.

Будто дом чувствовал: я ухожу не на время.

Я ухожу туда, откуда люди редко возвращаются прежними.

Рука легла на дверную ручку.

На секунду я замер.

И впервые за весь месяц подготовки мне стало по-настоящему страшно.

От того, что однажды я могу вернуться сюда и ничего уже не почувствовать.

Я открыл дверь.

Неизвестный.

Холодный. Чужой.

И именно в этот момент я понял:

Джонатан Стоун остаётся в этом доме.

А в КРАТОΣ едет уже кто-то другой.

Три фигуры ждали меня у выхода.

Мама мяла пальцы — медленно, бессознательно, будто пыталась удержать ими то, что уже уходило. Она делала так всегда, когда не знала, куда деть страх. Не плакала. Не говорила. Просто сжимала и разжимала руки, как будто проверяла: ещё чувствует.

Отец молчал.

Ему было что сказать. Но всё уже давно было сказано — поступками, отказами, паузами длиной в жизнь.

Он стоял прямо. Слишком прямо для утреннего часа. Лицо спокойное. Закрытое. Такое бывает у людей, когда внутри всё горит, но нельзя позволить этому выйти наружу.

Эмилио что-то говорил.

Какие-то слова — правильные, логичные, лишние. Про дорогу. Про осторожность. Про то, что связь будет. Что время всё расставит. Его голос плыл мимо, не цепляясь. В такие моменты слова всегда звучат как шум — они существуют, но не имеют веса.

Атмосфера была ужасной.

Воздух был тяжёлым.

Как перед грозой.

А теперь добровольно уходил туда, где мог потерять себя окончательно.

Я взялся за ручку двери.

Мама подняла на меня глаза. В них было всё сразу: просьба остаться, разрешение уйти, любовь, которая не умеет выбирать между этими двумя.

Отец не посмотрел. И это было самым трудным.

Эмилио зажег сигарету, он тоже нервничал.

Я кивнул — не им. Себе.

Открыл дверь.

Холодный воздух ударил в лицо, резкий, честный. Такой, каким он бывает только снаружи. За спиной дом ещё держал тепло. Впереди его уже не было.

Я вышел.

Дверь закрылась не сразу. Но когда закрылась — тихо, окончательно.

И в этот момент я понял: я ушёл не из дома.

Я вышел из жизни, в которой меня знали.

Мама посмотрела на меня в последний раз.

Без слов. Без слёз. Так смотрят, когда уже всё сказано раньше — ещё до рождения, ещё до первого шага. Она посмотрела на меня так, будто пыталась запомнить.

Она подошла ближе, поправила воротник, словно я собирался не исчезать, а просто выйти ненадолго.

— Иди, — сказала она тихо.

Я кивнул.

Отец бросил на прощанье.

— Не оглядывайся, — сказал он.

Это было не наставление. Это было благословение в его языке.

Эмилио стоял чуть в стороне.

Он молча кивнул — один раз. Этого было достаточно. Он не говорил «удачи». Такие, как он, не верят в неё. Он смотрел на меня так, будто запоминал — не лицо, а **вес**.

Я развернулся и пошёл.

Дом остался за спиной — большой, старый, английский. Дом, который видел рождение и уходы, победы и тишину после них. Он не пытался удержать. Он просто закрылся.

Я вышел через задний проход и пошёл через лес.

Там было сыро. Пахло землёй и листьями. Ветви цеплялись за куртку, будто проверяли — точно ли я иду дальше. Я не ускорял шаг. И не замедлялся. Просто шёл.

Когда деревья расступились, впереди появилась дорога.

Я остановился. Сделал вдох. Выдох.

Поймал такси.

Сел на заднее сиденье и назвал адрес — первый, который не имел к моей жизни никакого отношения.

Машина тронулась.

В отражении стекла я видел человека в очках, с тёмными волосами и карими глазами. Неприметного. Без фамилии. Без истории. Без защиты.

Теперь я был никто.

И именно это делало меня опасным.

И самое страшное — часть меня уже хотела узнать, кем именно станет этот человек.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.